

АЛ. АЛШУТОВ



СЕВЕР И ВОСТОК

АЛ. АЛШУТОВ

СЕВЕР И ВОСТОК



СТИХИ

Сп

016520

Коми книжное издательство

Сыктывкар 1981

Сыктывкарская ЦБС

Р2
индекс ББК 84.3Р7
А59

СЕВЕР И ВОСТОК



ВУЛТЭ

Алшутлов А. Я.

А59 Север и Восток. Стихи. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1981. 96 с.

Широка география книги: Север и Дальний Восток, «Пятый океан» всегда близкого автору неба и ныне далекий от него Тихий океан, который мореплаватели прошлого не зря называли Великим.

В этом пространстве, всегда одушевляя и очеловечивая его, активно живет лирический герой Александра Алшутова. Почти документальная достоверность стихов не превращает книгу в репортаж: конкретные факты и реалии отдельных строк построены так, что неизбежно будят у внимательного читателя переживания и мысли о том, что безразлично лирическому герою книги.

Сборник рекомендован к изданию членом Союза писателей СССР Львом Александровичем Аннинским.

А 0742 — 001
М 128(03) — 81

Р2

© Коми книжное издательство, 1981.



Поредела в густом
небе синь.
Пролетели гуськом
лебеди.

Над утками серыми
высоко-высоко
пролетели с Севера,
Севера и Востока.

Поводили в пути
крыльями
медленно,
трудно.

Превратились в пунктир.
Крикнули
медно,
трубно.

След их снегом замело.
Опустились низко —
сшили небо с землей
на живую нитку.

ТЕРЕМ



Доски выструганные,
остро выстраданные
срубленным деревом,
срублены теремом.

Выросли вы красно
гребнями петушиными,
выстрелом-костром,
не потушить его.

Не двести, не триста
лет стоите...

Как дети, туристы:

— Смотрите!

Смотрите!!

Приехать стоило.

Смотрите зорче.

Терем строили
лихие зодчие.

Была — не была!
А чаще не было.
С белá до белá
не ёли — нé пили.

Не хвастая, хватали
топоры-рубанки...
Холста не хватало
на порты-рубахи...

Про это и не помнили!
Художники с основ
писали пó небу
кистью — сосной.

В нашем подъезде не пахнет свечкой из воска —
в нашем подъезде пахнет свежей известкой.

А возле подъезда
зелеными самородками
тянутся тесно
и вкусно по-детски
кустики черной смородины.

И краны подъемные самого крупного роста,
под ношами разного веса
отвесив поклоны,
железными лапами машут и мажут в небесную синь
купороса

подножки отвесно
идуших на взлет разноцветных балконов.

И строится в строгие линии новая стройка
от корпуса «А» и до замеса корпуса «Е»,
и ливнями — стекла:
в них солнца расплавлено столько! —
для замыслов хватит свободно для ста Корбюзье.

Домов боевые, верней бытовые порядки, —
дома, ведь они — существа самой мирной породы, —
войну объявляют маньчжуркам и стыни бараков,
войну объявляют мишурностям стиля барокко.

А по ночам фонарей золоченые стопки
прямо отсюда бегут облучать
зелено-черные сопки.

ВОСПОМИНАНИЯ О РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ

Вокруг меня простор такой зеленый
распахнут нераспаханными землями.
Я на коня кричу:— Пошел, залетный!
Я точно зельем

захлебнулся зеленью.

А конь не слушается,

брыкается,

косит зрачком:

— За кем ты, парень, гонишься?

Не лошадь — сущую проказницу
седлали мне подвыпившие конюхи.

А мне — ничто.

Мне трын-трава.

Я травами

свищу себе,

махая над гектарами,

и, «залепив свечу»

над ставшим трактором,

механикам горланю агитаторно.

И трактор рвется

из зеленой поросли.

И, как художник,

тракторист творит,

И трауром

выкладывает борозды

для насмерть перепутанной травы.

А завтра

буду спорить и ругаться,

и яростно отстаивать свое

в прокуренной до синевы редакции

с редактором...

секретарем...

И сквозь очки,
с газетной точки зрения
редактор,— разве все ему расскажешь?!—
решит, что слишком много зелени
в моем весеннем репортаже.

БОГОМАЗЫ

*Безымянным художникам русского
средневековья.*

Заказ — приказ:

— Чтоб богоматерь!

И в золоте...

В смиренных позах
внимали тихо богомазы:

— Чего изволите?!

А после,
собравши в ярости и боли
в щепотки

кисти,
по команде
крестили доску

в мать и бога,
вгоняя в краску богоматерь.

И изумленные заказчики
дивились силе той иконы.

Но, в храм вошедши вслед за кающимися,
давились сытою икотой,
когда до их голов докатывалась
беседа бога

с чернью
попросту.

И было поздно им догадываться,
что делалось

таким вот образом.

КАМНИ

Над холодным стеклом витрин
выбирает женщина камни.

Много света у них внутри:
камни — чистой воды капли.

Не задаром,

в прорыве великом,
границ света

сломав для чего-то,
за хлеб этот свет ювелиры
выводили на чистую воду.

Красота была для них целью.

Ну, а женщина видит цену
и бледнеет,

точно каменя,
над камнями каменя,

в глубь витрины глазами канув
из-под сизых пасмурных век...

— Ну, скажите, зачем вам камни?

Ведь теперь не каменный век...

Красота эта нам не сверстница.

В ней есть что-то жестокое, зверское
от эстетики каннибала
и от этакой каменной бабы.

И зачем их трогать руками?

Они — камни.

Как ни верти!

...Выбирает женщина камни
над холодным стеклом витрин.

НА РЫБОЗАБОЙКЕ ¹

Не стоят здесь, рты разинувши,
здесь по-щучьему повеленью
речку меряют в сапогах резиновых,
пошучивая, что моря по колено.

А рыба — справа и слева
прет,
 сегодня особенно!
Встречают ее без хлеба,
зато с солью.

И под ножиком скорбно так
воздух хвостами гребущие,
под ношей икры сгорбленные
бьются горбуши.

Раз!
 И взмах ножевой
вскрывает рыбину настезь.
Он ради икры —
 на живот,
ну, а для рыбы — насмерть...

Виновник этой беды,
смотрю я с большой неловкостью,
как, в рот набравши воды,
мрут благородные лососи.

¹ Рыбозабойками называют своеобразные ловушки, устраиваемые в устьях дальневосточных и северных рек во время нереста благородных видов рыб из семейства лососевых. Икру, полученную из забитой рыбы, переправляют на рыболовные заводы для искусственного выведения мальков.

Им объяснить сумеете,
что, проявляя заботу,
об их лососевом семействе,
устроили эту забойку!

Что из икры

без них

лучше мальковая прибыль...

— Попробуй, им объясни?!

— Прости нас, большая рыба!



Моим друзьям по Армии.

Мы рано утром сели в Заполярье.

Наш самолет

шатался под нордвестом.

Мы ёжились,

машину заправляли,

а в километре — ёжились норвежцы.

Был между:

столб,

табличка,

пять гвоздей.

За ними

цвет и легкость сохранивший

кружился снег,

кружился, как и здесь,

такой же снег,

но только — заграничный.



Я пройду через озябший сквер,
Мимо неоткрытых магазинов.

Постучусь,

и мне откроет дверь
незнакомый

заспанный мужчина.

Вам кого?

Мою жену?!

Она еще не встала...

Что передать?

Откуда?

Кто вы?

Виноват!

Я усмехнусь:

— Скажите, что с вокзала
к ней заходил

вернувшийся солдат.

Заспанный мужчина удивится.

Разве сможет он когда-нибудь понять,
что бывает с подожженной птицей
на высоте 11 и 5?

Когда с ветром

поцелуешься взасос
и летишь,

летишь в ничто со свистом...

И выстукивает сердце СОС

на звенящих нервах бортрадиста.

Разве он когда-нибудь поймет,
что под маской равнодушных шуток
я качаюсь, как расстрелянный пилот
на ненужных стропях парашюта.

А с земли всем кажется, что жив.
Что ж, натянем юмора постромки.
Незачем показывать чужим
счастья обгорелого обломки.

ПОСЛЕ ПОЛЕТА

В ушах стоит такая тишина!

Она сильней,

чем самый сильный гром.

Сегодня налетали мы сполна,

и под ногами вновь аэродром.

Окончены полетные часы.

Разряжены в кабинах парашюты.

А самолет — весь в капельках росы,

как будто он вспотел

после маршрута.

Ведь он устал на боевой тропе

и тоже стосковался по стоянке.

Кузнечики приветствуют в траве

нас на знакомом языке морзянки.

Полынная и горькая земля!

Она для нас

сейчас нужнее хлеба.

Так может землю

полюбить, как я,

лишь только тот,

кто так же любит небо.

ЮЖНО-САХАЛИНСК

— Южно-Сахалинск?

— Вьюжно-Сахалинск!

— Эй, посторонись!!

— Эй, схоронись!!!

Грузные столбы
гнутся, как стебли,
белое бельмо метели...

Так пугали меня от тебя вдали,
ну, а я все это с тобой делил,
как синий «Беломор» с друзьями делят.

Брали «на ура»,
врали про буран...

Ну, и тьфу на них,
грош цена им!

Я тебя без всяких кокетств
принимаю таким, как есть:
с тайфунами
и цунами.

Я ведь знаю: под снегом растет бамбук,—
увидать его им не хочется.

Их пугают 13 букв
твоего имени-отчества.

Ты меня к другим городам не ревнуй!
Слышишь? Слышишь ты меня, умница?!

Ты ведь знаешь: я все равно вернусь
на твои дымные улицы.

Ты ведь знаешь, как я тебя люблю,
как я жду, чтобы мне позвонили?

Я, любя, и в Москве по ночам ловлю
твои утренние позывные:

— Южно-Сахалинск!

— Вьюжно-Сахалинск!!

— Снежно-Сахалинск!!!

— Нежно-Сахалинск...

СЕВЕРНЫЙ ЧАЙ

(Этнографический очерк)

— Утро вечера мудренее! — каюр замечает мудро, — вечером километры длиннее, гораздо длиннее, чем утром.

Мы распрягаем усталых собак, притормозив у юрты. Я рад целиком предоставить себя юртовому уюту. Этот уют без излишнего сервиса, дает он просто тепло и мясо, а главное — гостеприимство Севера, гостеприимства — массу.

Оно без фальши и без коварства — нет этих черт у нивхов — охотников. Встречает хозяин — старик Кавазги нас искренне и охотно.

В прошлом он, говорят, шаман. Но верить росказням глупо и пошло. Ведь люди нередко и зря шумят. Мало ли что с кем бывало в прошлом?!

И вот мы уже на шкурах оленьих полулежим у столиков низких, и ноги гудят непривычные к лени, а рядом хлопочут радушные нивхи.

Блистая расшитыми медью юбками, старухи, звонкие будто колокол, вносят душистую знойную юколу — потчуют нас юкболою. Тащат мороженую навагу. Наваги вдоволь. Наваги столько, что валят навагу на стол навалом, и прогибаются доски столиков. И скрипят у столиков ножки, — хотят, видно, пир устроить нам нивхи?!

— Вон из ножен охотничьи ножки — да здоровствует строганина!

И я перочинный нож вынимаю, нашарив в правом кармане. А в центре всеобщего внимания — главный номер программы:

Огромный чайник
размером с чан
кипит отчаянно,
в нем варят чай:

Не простой — плиточный,
плитками — кирпичами...
На кирпичной плитке —
чайник крепкого чая!

— Ну-ка, хлебни его! Только смелей! — Враз голова закружится намертво, как кружится, если долго смотреть на северные орнаменты.

Заваренный крупно, заваренный круто, подернутый пленкой радужно-глянцевой... Радужный хозяин первую кружку наливает для гостя главного.

Как лекарство, стараясь не нервничать, чтоб хозяина не огорчать, запиваю я жиром нерпичьим обжигающий горло чай.

Чтобы гость ощутил в жилах силищу, чтобы гость до ста лет прожил, наливают мне в горсть жир сивуча — вдосталь пью этот самый жир.

А нивхи, глаза веселые щуря, машут ножами — от каждого взмаха тонкой кольчугой сползает шкура с промерзшей насквозь наваги.

Я кожу с наваги сдираю тоже, стараясь во всем быть на нивха похожим, и сам от старания лезу из кожи, да так, что мороз подирает по коже. Снял — и хрустит на зубах превкусно рыбаина ледяная: пью с удовольствием чай в прикуску с рыбными леденцами. И понимаю: сказка не врет, нету в сказочных яствах тайны: только возьми строганину в рот — во рту она явно тает.

Но вот, от обильной еды захмелев, в знак особенного внимания предлагает хозяин мне чайное соревнование.

Соревноваться? Что ж, попробуем! Ценю спортивную хватку. Лишь бы воды хватило в проруби, ну, а меня — хватит.

И моя голова не кружится, хоть мы пьем уже битый час. Я сижу, грохочу себе кружками, очень нравится мне этот чай.

А он все крепчает, невпроворот, мы тянем пахучую рыжую жижу. У нас на щеках выступает пот каплями ры-

бьего жира. Густо стекает по лицам. Нам он — что с гуся вода. А чай продолжает литься из чайника как из ведра.

Вот и конец. Видно дно от чайника. Что же, хозяин? Давай «по пяти»! Видно, вконец ты сегодня отчаялся определить, кто кого победил.

И мы поздравляем с победой друг друга. И мыжимаем друг другу руку. И, опьянев от крепкого чая, я засыпаю на нарах. И вот уже снова меня качает на долгих скрипучих нартах. И я продолжаю думать во сне об умных таежных законах. И я, проезжая, кричу сквозь снег своим городским знакомым, что возглас привычный:— Пей до дна!— пора понимать, как бездонность, что здесь, хоть и редко стоят дома, нету слова бездонность.

Если когда-нибудь, невзначай, вас судьба занесет в это стойбище, сами попробуйте северный чай, чай — это дело стоящее.

*Восточно-Сахалинский район,
стойбище Лунво.*

□

Он все танцует,
все танцует...

Кричат:
— Смотри, не повались!

А он танцует,
как тасует
колоды желтых половиц.

А он танцует.
Он не сбился.

Нет, он не сбит,
хоть был избит.

И пахнут
крепостью сибирской
углы им срубленной избы.
Большой,
приземистый и плотный,—
плясать не сможет так лентяй!—
он рубит,

рубит, точно плотник,
а щепки — пусть себе летят.
Летят, как пух.

И будут прахом.
Великим прахом — не простым...
Он гнет колено,

будто пахарь
над паром свежей борозды,
и дышит воздухом смоленным...

Нет, он еще совсем не стар!
Раскинув руки самолетом,
он вновь берет высокий старт.
На счастье снова

гнет подковы
в дугу

Танцует во как!

Будь покоен!!

Танцует так...

Дай бог другим!

БАЛЛАДА ОБ ОЛЕНЬЕМ БАТАЛЬОНЕ

Не сказка это и не сон,
не ради славы и почета
ушел олений батальон
сражаться с берегов Печоры.
Не думая войти в стихи,
а просто:

 надо — значит надо,
из чумов вышли пастухи
и запрягли оленей в нарты.
Вот — зверобойный карабин,
вот — подотчетные гранаты...
Они ушли, не дав родным
на возвращение гарантий.
Ушли, не кончив мирных дел,
к любимым не прижавшись грудью,
живым, горячим строем тел
навстречу грохоту орудий.
Какой там ямб или хорей?
Какие стопы и размеры?!
Каюр крутил в руке хорей —
катился топот до рассвета.
Не спотыкаясь груз везли
олени вдаль по скользким тропам,
и на краю моей земли
олени встали Кольским фронтом.
Всмотрись, у времени в тени,
едва заметны в маскхалатах
громить фашистские тылы
бредут полярные солдаты.
Их затерявшийся маршрут
согрет не женскими слезами,
а на снегу лишь

 там и тут
оленей чуткими следами.

Звенела грозная пурга,
 как крылья будущей победы.
 Оленей гордые рога
 той снежной музыкой отпеты.
 Упав, припомни белый чум,
 а в нем — детей, жену и маму...
 Но, как,

скажи,

кровинку чью
 им отыскать

в полярных маках,
 горящих каждую весной
 над зеленеющей тундрой?
 Как распротиться им с войной?
 Со вдовьим, бабьим горем трудным,
 когда вдруг с ясных детских лиц
 твои глаза на них посмотрят?
 Как сделать, чтоб они смогли
 забыть войну?

Что сделать можно,
 когда не сказка и не сон
 все то,

с тобой поем о чем мы?!

Ведь был олений батальон!
 Ушел олений батальон
 с высоких берегов Печоры.
 Где он,

олений батальон?

ШАМПИНЬОН

Предельно чуткий, как глухой Бетховен,
Слепой и прозорливый, как Гомер,
он упирался в пласт глухой бетона,
так, что бетон, поддавшись, загремел.

Воссоздавая взрыв урана зримо,
стоял грибной силач и чемпион.
И был сильнее атомного взрыва
от напряженья бледный шампиньон.

Сгорая в синем сабельном огне,
с мальчишечьи-святой душой Гайдара
в атаку гонят взмысленных коней
безусые лихие командармы.

У них земля сырая впереди,
а позади — оборванное детство.

Они летят, себя опередив,
цветет в глазах корчагинская дерзость.

Нет, не в глазах,

а в яростных очах,

таких, как на раскольничьих иконах.

Их губы справедливостью кричат.

Их шашки

жадно просят вражьей крови

и отблеском рождают на лице

к самим себе

прекрасную жестокость.

И, точно пуля,

поражает цель

свинцовое карающее око.

Летят они в предутренний туман,

готовые от счастья разорваться.

Летят неповторимые туда,

летят туда,

откуда нет возврата.

Пластаясь немо

белым полотном,

сквозь мутный дым старинных кинохроник,

сгорая синим сабельным огнем,

летят на нас их взмысленные кони.

Да-да, я 'был когда-то мамонтом.
 В меня швыряли валуны.
 Оскаливались бивни матово,
 цепляясь за овал Луны.
 И от такого зубоскальства
 попавшийся попутно враг,
 как спутник, в небо запускался,
 свой вес земной утратив враз.
 Ловушки обращались в рухлядь...
 Но все росла толпа врагов.
 И, вздернув брови, вдруг я рухнул.
 И был убит. Убит врасплох.
 Успел запомнить глаз прищуренный,
 как, сбросив шкуры догола,
 ватага первобытных шкурников
 меня лежачим догнала.
 Они толпились жадной массой,
 остря над тем, как я пестрел
 от больно врезавшихся в мясо
 отборно-примитивных стрел.
 И мелочно галдели хором:
 гадали, кто меня убил,
 опасливо косясь на хобот,
 который прежде так трубил!
 С тех пор прошла почти что эра,
 а может даже не одна...
 Как сильно измельчали звери
 с того трагического дня!
 А люди выросли заметно.
 И я по улицам брожу,
 Себя за пяточок, за медный
 автобус подвезти прошу.
 И вспоминаются без горя,—

как раз бы, мол, каркас скале!—
да вот лежат без дела, в Гоби
мой прежний череп и скелет.
В переселенье душ не веря,
живу, небритый атеист.
Но как мне хочется стать зверем,
какой багровый атавизм
встает,
 как затрубить заманчиво
в толкучке трусов и трусих!
Когда ошибочно за мамонтов
те выдают совсем других.

АПРЕЛЬСКИЙ СНЕГ

Он себя уронил
в самых дальних районах
под коней вороных,
в след машин вороненых,
запоздалый,
невольный,
крася в белую зиму
ярко-синие «Волги»,
черно-бурые ЗИЛы,
Он по стеклам, как дождь
растекался водницею,
и в холодную дрожь
вгонял руки водителей.
Ослепительно светлый
через сумерки серые
он просыпался сверху
и рассыпался скверами
мимо окон погашенных
и уже подоженных,
на пустые багажники
и на баржи груженые...
Освежающе-мятный,
оседающий мягко
на детские пальчики
и на тесные парочки,
на романы бульварные
и трагедии скверные,
на лампы фонарные
и лопаты фанерные...
Загребать его до ночи
будут белые дворничихи,
и кружиться кругами
по уснувшей Москве,

собирая в курганы
не послушный им снег,
и сметут его.

Начисто!

...А он только что начался.



Я утирал у МАЗа рыло
от липкой стынущей грязи.
У магазина «Мясо-рыба»
я туши мерзлые грузил.
И люди мясо выбирали,
пытливо пробуя на глаз.
И, выбрав,
чеки выбивали
у пулеметно быстрых касс.
Покуда двери не закроют,
таскал я туши.

Дотемна.

Я нес.

Я нес им

мясо с кровью,
но было всем не до меня.
Сновали люди торопливо
во власти кухни и стола.
В отделе, где живая рыба,
они толпились у стекла.
Меня досада забирала,
но, горло замотав шарфом,
я вносвь садился за баранку,
я был отчаянный шофер.
Давил на плечи

кузов полный.

Я гнал и гнал!

И тормозил...

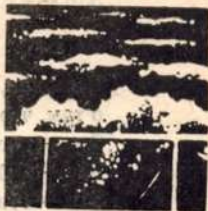
Я до сих пор

отлично помню

тот

мясо-рыбный магазин.

РЫБАЦКИЙ ХЛЕБ



ВМЕСТО СПРАВКИ

Это вопрос не простой,
что такое Бристоль.
Это не просто огромный залив,
втиснутый в кромку укромной земли.
Это — волны серебристая соль...
Это — океана просторы...
Но это еще не весь Бристоль,
это лишь часть Бристоля.
Бристоль, он на самой макушке Мира,
за две с лишним тысячи миль,
вдали от родных, от любви, от ласки...
Это — у берегов Аляски,
где в промозглой
 арктической влаге
нас греют лишь вспышки
 нашего флага,
когда, —
 измотавшись вконец,
 старпом
следит за танцующим
 ртутным столбом,
который,
 сигая на сто делений,
нас не сгибает своим давлением...

Это — работа,
 работа,
 работа...

И сводки, короче морских рапортов
о том, что добыты рыбы горы...

Это — плавучий рыбацкий город.

Это — 1200 моторов.

Это — 10 000 матросов,
ненавидящих лень и простой!

Вот что такое Бристоль.

Этот город-кастет
бьет в постылую морду
белозубое,
сиплое,
сытое
 море.

Он, как кэтч,
напряженный
канатами ринга,
солью желтой
колотится
скользко
 на рыбе.

И, как сеть,
сам не свой,
перекрученный круто,
в каждой клетке несет
отрицание круга.
Просмолен и просолен,
стрелы кранов нацелил
город не образцовый,
потому что не цель он.
Город, ставший рывком,
Город — сила и средство.
На руках рыбаков
его синее сердце
с примитивной и голой
толстогрудой наядой
иголкой
наколото
грубо
 на якорь.

Город,
горе
топящий

 глубоко-глубоко!—
на темное дно зрачка голубого
с навернувшей грустью,
монотонными драмами —
невернувшимся грузом
многотонного траулера.

Невельск
с кошельком
до серебра размотанным —
невод
кошельковый
для серебра разметанный,
он качает
свои команды
от Камчатки
и
до Канады...

ГОСТИНИЦА ПЛАВСОСТАВА

Непокойно
тела в наколках
пластая,
бормочет,

храпит по койкам
гостиница плавсостава.

Сбив по-ребячьи волосы,
обрушенно
на подушки,
спит рыбацкая вольница
дружно,
единодушно.

Снится, наверное, снизу
стонущая вода...

стынувшие, сизые,
тонущие невода...

И ледяная корка:
шаг неверный,

и — кубарем!

Снится, наверное, койка —
душа кубрика.

Койка ходит,
будто живая,

хочет, колет,

будит желанья:

кожа — мышцы,

по коже — мурашки...

кошки — мышки!

кокша — Машка!

А, может быть, все это выдумки
бумажной романтики?!

А мальчикам, днем невидимые,
в снах являются матери

в ореолах неброских
платков излинявшего ситца,
а на замерзших березках —
заморские птицы — синицы
звонят у далекого Брянска...
заокеанского Витебска...
...Спит мое новое братство.
— Попробуй, узнай, что им видится?
Гадай,
ненасытно улавливай!
Доверься себе! —
Сможешь!
Над дверью синяя лампочка —
глаз неусыпный моря.

ОТХОД

Приходится парторгам ругаться,
гася нервность,
отходит портовый, рыбацкий,
«в газах» Невельск.

Пахнет свежее тарой,
пахнет пивным баром,
вызвякивают гитары:
— Тары-бары!

Кто-то с другом украдкой
горькую пьет напоследок.

Кто-то, сгрудясь у крана,
горько целует в последний.

А кран — всего этого выше!

И краны на сто ладов
бочки швыряют, как фишки,—
играют в лото.

И крутят полые бочки
белую берестю.

И — грусти полную почту,
синюю, до Бристоля.

Уже погрузили тралы,
вот-вот уберут трапы,
сейчас уберут сходни,—
шагнул бы к тебе, да нельзя!

Сегодня,

сегодня,

сегодня

уходим мы «до нуля».

Вот горизонт тронет
склады и гаражи...

Вот океан дрогнет —
дрогнул наш «Геленджик».

С моря водица балует

радугой в семь цветов.
Смотрят вдовицами бабы,
нерадостно, без цветов.
Женщинам это прощается —
здесь негде срубить сирени...
Траулеры прощаются,
трижды врубив сирены.
А ты в весеннем пальтишке —
на причале,
стараясь плакать потише,
так печально
платочком без счета машешь,
что есть мочи! —
слезы по щекам мажешь —
платок мочишь,
солнце прикрыв рукою,
ладошку на лоб откинув...
А судно уходит.

Уходит!
Уходит на лов активный.
И машет, путаясь в вантах,
чей-то зеленый ватник...
А судно все дальше!

Дальше!!
Уже далеко.
Не остановится даже.
Уходит.

И так легко.

СОБАКИ

Это стало как правило:
просто так, для забавы,
почти на каждом траулере
есть собака.

Она — пассажир внеплановый,
минуя все портинадзоры,
уходят зайцами в плаванье
Жучки или Трезоры.

Их, как людей, укачивает,
и, очень грубые внешне,
рыбаки за собакой ухаживают
удивительно нежно.

Бывает, волна, окатывая,
смывает собаку с бака.
И тут бесполезно отгадывать,
где зарыта собака.

А чаще они выживают,
матросы четвероногие,
и молча переживают
собачье свое одиночество.

Но, если за много суток
впервые встречается судно,
глядят с двух бортов собаки,
выскивая собрата.

Увидят — всеми зубами
друг другу смеются с лаем:
в море любая собака!
совсем не злая!

**Встречей короткой растроганы,
хвостами помашут грустно,
и — в разные стороны,
человеческим курсом.**

СЕТЬ

Команда подана:

— Есть!

За борт отдана сеть.

Позади — на концах троп
до конца позабыт порт.

Ну, а здесь —

сельдь... сельдь...

Ну, а здесь —

сеть... сеть...

Нам не сесть баланду травить —
нам не сельдь надо сеть травить,
Не приходится здесь выбирать:
Сельдь!

Приходится сеть выбирать.

И, пока она травится

и выбирается,

в бока траулера

упирается

двадцать пар каблуков

скользящих сапог,

валит пар клубком,

сквозящийся пот

без спроса просачивается за борт

курток водонепроницаемых,

и просто — за борт,

круто забортную воду просаливая!

Плеснет вода

из огромных глубин —

пальнет, обдаст

огнем голубым:

Свет всплывает пылающим островом —

сеть пылает, пылящая фосфором;

полная рыбы, красивая,

пойманной рыбой трассируя...
Будто черная летняя степь,
море бредит земным брожением..
Сеть горит,
как электросеть
высокого напряжения!

КИТЫ

Киты прижались так друг к другу,
встав вровень с мачтой из воды,
как будто выбирали угол
к прыжку до гаснущей звезды.
Как две космических ракеты,
по вертикали взвив тела,
они застыли на рассвете,
и вахтенный сказал:

— Дел-а-а!

Раз у китов такая штука,
их бить никто не помышлял.
Не отпускали даже шуток,
чтобы китам не помешать.
И только изумлялись тихо,
сочувствуя мужской душой:
— Как кит сумел найти китиху?
Ведь океан такой большой!
— Наощупь?

— Чувством обонянья?

Они сплылись,

сплелись вдруг!

И нечем было им обняться:
природа не дала им рук.
Но, распахнув в улыбках зевы,
без третьих, лишних в этот миг,
киты бы выдержали Землю,
взвалив на спины круглый Мир.
Китовой силою их ритма
шаталась баллов в семь вода,
как будто Сцилла и Харибда
столкнулись раз и навсегда.
Они любили так усердно!
Любовь была не как игра.

**В любви той было столько сердца!—
почти 2000 килограмм.**

Им было нечего стесняться:

мол, пусть глядят, раскрывши рот...

Мне до сих пор киты те снятся:

в размахе северных широт —

два чудища,

морских животных,

в фонтанах радужных смерчей!

Как утверждение живого.

Как отрицание смертей.

КАПИТАНСКИЙ ЧАС

Когда,
запарившись колдовать у котла,
механик уходит на боковую,
под рёв и грохот «Бокау-Вульфа»
отодвигается капитанский чай —
надвигается капитанский час.

В этот час

в городах

у киноафиш

земные девушки пялят глаза.

А у нас — плывут в океанский эфир
капитанские голоса.

О чем же говорят капитаны?

Интересуются:— Как с питанием?

С пресной водой?..

Горючкой?..

Продуктами?..

Если их нет, то когда придут они?

Еще говорят капитаны про рыбу...

Были ли на тралах порывы?..

Если, да, то и про тралы.

И кто на них времени сколько потратил?

И почему?

И как ловили?

Из-за чего такая авария?

И тут же сменяться кинофильмами

капитаны договариваются.

И вовсе не от нечего делать

капитаны говорят про погоду,

и сводку погоды

берут на неделю,

а согласились бы брать

на полгода.

Здесь ведь Север,
а не Кейптаун,

вот и приходится капитанам
считаться с погодой очень.

И, если шторм обещают по сводке,
что ж, капитаны по-свойски
желают друг другу:

— Спокойной ночи!

И ждут, когда, волнуясь, полезет
на бак океанская прозелень.

И станут тогда

превращать в поэзию

то, о чём говорилось прозою.

НЕРПЁНОК

Нерпёнка поймали.

Поймали

— ура!

Нерпёнок вдруг взял

и сказал:

— Уа.

Заплакал нерпёнок.

Ну, чем не ребёнок?

Захныкал капризно:

— Пусти, мол, и точка.

Сверкнула слезинка — радия грамм.

Я почему-то

припомнил дочку,

что нет из дома радиogramм...

...и, как надоел мне

за месяц Север,—

дальше, ещё и не так надоест!..

А кто-то

над ухом

голосом серым

сказал, что нерпёнка

надо съесть.

Но друг мой,

скользя на ногах на длинных,

«дал козла» через борт на льдину.

И, напрягая до ужаса нервы,

сидели за ним

две взрослые нерпы.

И, ужас, превозмогая,

дотошные,

Они поползли к человеку с детенышем.

Дрогнуло двадцать строгих сердец.

Вздрыгнул

и струнул

лёд СРТ.

В радиорубке

врубили «Днепр».

Мы слушали песенки Окуджавы.

И множество

страшно довольных нерп

наш СРТ окружало.

МОРСКИЕ ЛЬВЫ

Весь день работаем на палубе,
работы — выше головы!

А сивучи у борта балуют:
морские львы.

И только очертанья трала
начнут всплывать большой авоськой,
у борта закипает драка —
морские львы и чаек войско.

Приноровясь ловчей упасть как,
на наш улов с налета ринув,
у львов из самой львиной пасти
выдергивают чайки рыбу.

И это вовсе не случайно,
хотя покажется и странным,
что множество писклявых чаек
выходит с прибылью из драки.

А львы молчат и не кусаются,—
им солоно в морской среде,—
лишь промычат и смотрят с завистью,
как мы на шатком СРТ
вовсю играем звоном бочек
и заливаем в них улов.

Нам львы мешают, между прочим,
но все-таки мне жалко львов:
глаза, как у собак, у сивучей,
и зря в них пропадает силища.

Ведь так глядят, как будто просят
немножко корма им подбросить.

Ну, что ж, мы рыбки вам подбросим:
— Ты только успевай, лови!

Но все же, звери, под вопросом:

— Мы или вы
морские львы?

РЫБАЦКИЙ ХЛЕБ

Хлеб на судне пекут по ночам,
как пекли в старину на суше,
хлеб на сутки,
самый насущный,
хлеб, в котором
начало начал.

И, пока человек у руля
судном пробует управлять,
посреди сумасшедших накатов
судно точкой поставив на карту,
и в стеклянной, негаснущей рубке
исчисляются галсы и румбы,
пока лопасти хлопают в мыле
и лопатят морские мили,
их мотают,
и гложут,

и рубят,
кок по локоть голые руки
запускает в сырое тесто
океанского хлеботреста.
Без учета штурманских формул,
по наитию древних поморов
хлеб густой,

самых грубых помолов
кок вбивает в железную форму.
Исступленно вбивает.

Взахлеб.

Пока хлеб тяжело не вздохнет
над стадами немых сельдей
и над плоскостью всяких камбал...
Кок при этом хмелеет как бы,
и качается все сильнее
докрасна раскаленный камбуз.

И, большой темноте назло,
пока спят непробудные кубрики,
ноздреватые на разлом
дышат хлеба

пудовые кубики.
Хлеб не сладкий.

Он даже горький.

Хлеб,
щекочущий крепко в горле.

Не рассыпчатый,
и не ватный...

Хлеб — под черной,
соленой коркой,

как ночная,
кромешная вахта.

ШАТУН

Медведь-шатун забрел по льду на судно.
Он трал легко зубами разодрал
и хмурый, весь от голода насуплен,
зарылся жадно носом в драный трал.
Медведю, как другим, зимой не спалось,
и с острова подался он в моря.
Он жизнь не стал высасывать из пальца.
И в этом тоже есть своя мораль.
И в том еще

огромное значенье,
что наш шатун не стал других лютей:
он ел остатки рыбы заячеенной,
спокойно ел,

не глядя на людей.

Язык колючий снегом освежая,
ворчал довольный, путался в линиях...
И палубу с медведем освещала
не полная, а жирная Луна!
Потом прилег, усталый и осевший,
измазав губы в собственной крови,
поскольку стукнул точно, без осечки
казенный капитанский карабин.
.
Я понимаю: рванный трал — в убыток.
Медведь — шатун, и должен быть убитым,
что нет нам мяса на Святом Матвее¹,
и, стало быть, оправдан пули щелк...
Но лично я не стал бы бить медведя:
пускай себе шатается еще!

¹ Остров в Беринговом море. Принадлежит США.

Постирано по-зимнему белó,
земным добром простертое на синем,
сырое, пресноводное белье
над мокрой солью моря молча стынет.

Оно цвело когда-то синим льном,
по ниткам шли земли живые соки...
Оно, светло поникнув, к сини льнет,
когда вот так душой по морю сохнет.

А на ветру, задрав над морем шторы,
и полотна суровостью нежны,
рубашки тянутся туда, где перед штормом
рубахи чистые нам позарез нужны.

Их рукава, как всплески рук рыбачек:
сорвись — любая птицей долетит!
Полощутся вдоль берега рубашки,
которые от дела далеки...

В такую погоду не бьются склянки
на баке —

в такую непогоду бьются на склянки
баки!

Взмывая горючим:
нефтью... бензином.... соляром...

Взывая к орущим,
смываются, море заляпав...

В такую погоду в салоне у стойки
буфетчицы бьются:

в соленой сплошной неустойке
летает блюдце — летающим блюдцем!

И с удивительной ловкостью тонны
в грамм-атомы переходят.

И с удивительной легкостью тонут
громадины-пароходы.

И подливается масло
в зеленый огонь Куросиво.

И пот отливает с нас маски,
и пахнет вода Хиросимой...

В такую погоду со звоном в черепах
мертвые бьются.

В такую погоду в звонких черепках —
мордами бюсты!

В такую погоду теряется всякая видимость.
Такую погоду,— Да!— не всякому выдумать.

В такую погоду отличий не видно
и знаков.

В такую погоду отлично видно
изнанку.

А на земле в такую погоду,
ох, душно!

У женщин, что ждали мужей по году,
ёкают души:

жмутся ведьмами, жадно, лбом
к мутным оконцам...

Жутко! Не ведает даже бог,
когда ж эта мука кончится?!

А, когда она все же кончается,
море все еще долго качается...

И расплываются слюем горючего баки —
полощутся радугой по морю...

И расплываются слезы горючие, бабьи
оболочкою радужной по миру...



Над нами чайки гомонят.
А день — удачливый на редкость!
Весь напряженный, как гимнаст,
вертящий Солнышко на реях.

Вздыхает с камбуза борщом.
Ты ощущаешь голод мощный
и, с голодухи нос наморщив,
вдруг чувствуешь себя борцом.

Но ты пока не на ковре,
а если борешься, то с морем.
И ты вперед спокойно смотришь
и молча куришь на корме.



Вы видели, как рыбы умирают?
Они при этом ни о чем не умоляют,
по-рыбьи, молча, безо всякой жалобы...
Лишь вспыхнут в кровь распахнутыми жабрами,
и забирают ртом соленый воздух,
и за бортом морские гаснут звезды...

А на борту сапог толчется сутолока!
Как синий ток течет по рыбе судорога,
колотит в гриву и стучится в хвост ей...
И из холодных рыб сочится фосфор.
В нем рыбы души плавают, мерцают,
и к палубе надолго примерзают.

Взмывают голубые крылья трала.
В них чешуя горит, восстав из мертвых.
И меркнет фосфор — гаснет рыба драма
на палубе
до нового замата.

В. Иванову, капитану СРТ «Геленджик»

Друг сердешный,
капитан сээртэшный!
Позади море Беринга —
впереди месяц берега.
Не кипеть океану в портовом ковше —
в ковш вошел, и замлел,
обетоненный...
Хотя наш СРТ — не совсем ковчег,
и пристали мы не к Большой Земле,
все равно — к земле обетованной!
Мы-то знаем, как она хороша.
Мы с землею — по-корешам.
На земле все, что хочешь — запросто!
Хочешь — дай шлепка пацану,
хочешь, возьми и жену поцелуй,
хочешь — садись и завтракай.
Хочешь — «жарь» с друзьями коньяк
(на земле разрешается устав и спирт...)
Ну, а ты, как и я,
устал.
Ты спишь —
досыпаешь свой первый сон на земле,
досыта морем захмелев.
Пусть никто не будит тебя с утра.
Тихо плещет на кухне раковина —
пресноводная, ну, а все же сестра
поющим о море раковинам.
Ты на плеск сквозь сон улыбаешься.
Спи, капитан, люли-баюшки!
Берег чувствуешь ты вполне,

но недолго так в тишине
спать, уткнувшись в белую наволочку:

«— План — стране,
деньги — жене,
ну, а сам — носом на́ волну!»

И волна расшибется:— Б-бах..,

обдавая сырым морозом.

И заскачут на мокрый бак,

пританцовывая, матросы...

ЭПИЛОГ

Кита разделявают так: за хвост, и — вверх, и вверх по слипу... Ты почему-то боязливо сжимаешь нож на длинной ручке в руках. От головы до ног, ты, изловчась, с размаху рушишь и погружаешь этот нож в кита.

— Втыкай, как можно глубже! И шаг назад. Куда? Вот так...

Внутри кита вздыхает глухо. Кидает из кита фонтан большой, морской, тяжелой крови. На ней скользят сапоги шипы. И, ужасающе огромен, кит кажется тебе живым...

Но это кажется. Он мертв. Здесь не до живу — быть бы жиру! Ты под брезентом куртки взмок. А рана делается шире.

В нее на первобытный сумрак, — там, видно, и таился зверь?! — ты первым проливаешь свет, выхватывая темный сурик.

Дробится Солнце спектром света в туманной капле спермацета. Его запасы так малы! Но он — цена китовой смерти. На нем вращаются миры — миры космических косметик. Легко, свободно, как по маслу, от мазей — до губной помады, приобретая при вращении миллион различных превращений.

Всмотрись в него? — Такая малость! Но он, как звездная туманность. В нем враз, как будто от росинки, не зря сумели отразиться тобой расколотое Солнце, и опрокинутые сосны, те, что до кроны от кореньев над кровью страшным откровеньем нависли вовсе не случайно!.. И перевернутая чайка...

А позади — гудящим фоном железные пустые формы. И ты — над солнечным распадом. И под тобою кит распластан. Твой нож, как отблески грозы! А сам ты — по уши в грязи. Китовым жиром смазан густо, и где-то очень далеко — невероятное искусство, приподнятое до икон

морскою пеною высокой, зовет быть первым, а не сотым, и вопрошает строгим ликом:

— Куда ты в строку с каждым лыком?

Но сам ты ведаешь, куда. И делаешься только злее, и делается веселее осознавать себя вселенной на ста разделанных китах.

Когда усталость ломит мышцы, ты про себя смеешься мысли о том, что нож не зря нацелен, и в час трагической игры киты участвуют на сцене, входя, как часть, в актерский грим.

Я ЛЮБЛЮ ЭТОТ ГОРОД



Я год живу в доме стандартном,
а где-то очень далеко
мой переулок стародавний,
невозвратно дорогой.
Он в океане мне Великом
являлся часто в снах про дом
продрогшей голубиной липой
над Патриаршим тем прудом.
Меня не ждут там и не любят.
Там без меня хватает дел.
Негероические люди
в нём разделяют свой удел,
и, вечно думая о завтра,
и, зажигая свет чуть свет,
глотают наспех чайный завтрак
и строчки тусклые газет.
Там во дворе остался мальчик
и мячик, взвившийся свечой...
Тот мальчик заблудился в мачтах,
но он предъявит мне свой счёт
за то, что дома толком не жил
и старый двор не сохранил,

за то, что долго тратил нежность
я на китов и Сахалин,
за то, что я бежал отсюда
под грузом мелочных забот...
И всё ж меня он не осудит,
он всё-таки меня поймет:
войдет, как входят санитары,
со мной разделит строгий хлеб...
Я рядом,
здесь,
в доме стандартном
с гарантией на сорок лет.



Мой отец тает...
Мой отец отцветает.
Отцветает не жёлтой
невесомой пылью,
а моим отражённым
невесёлым лицом.
Он ещё что-то сбивчиво
говорит, как во сне,
как молчат о несбывшемся
улыбается мне,
но, как в старых деревьях
под усталой корой,
в красных сумерках дремлет
его древняя кровь.
Он мне что-то советует,
не стараясь ловчить...
Про свое, про заветное
убеждённо молчит.
Он поспорил бы жарко!
Но не спорю с ним я...
Мне всегда его жалко:
он — чужая семья.
И, не вызванный на спор,
про себя горячась,
допивает он наспех,
мною заваренный, чай.
Будто, всё понимая,
и за всё извиня,
робко вдруг обнимает
он в прихожей меня.

Не возражая,
выхожу за порог.
Я его провожаю.
Мы бредем до метро.
Знаю: он за мной искоса
наблюдает тайком.
Этот миг мне не высказать,—
в этот миг он такой!..
Белизной запорошенный,
смутный профиль отца,
он как всеми заброшенный
облетающий сад:
облетает
и тает,
так, что дальше нельзя.
Я беззвучно, я тайно
повторяю:

— Назад!

Вспышкой молнии гаснущей
отозвавшись во мне,
вспышка модного галстука
промелькнет под кашне.
Вот совсем он растает
в темной бездне метро!
...Влажный след замечает
белый дворник метлой.

БАЛЛАДА О КАВАЛЕРИИ

Каурые и белые...
Соловые и рыжие...
Проходит кавалерия
галопами и рысью,
проходит в чьей-то памяти
живая, как в кино,
озаряясь пламенем,
а вокруг — темно.
И снова, в седла влитые,
качаются в потемках
витязи в увитых
дымкою буденовках,
бурки обгорелые —
на худых плечах...
Проходит кавалерия
по глухим ночам.
И едет с Первой Конной
под звон казачьих сабель
эпоху перековывать
в очках писатель Бабель,
с блокнотами карманными
(их пуля не пробила),
чтоб с вами мы «Конармию»
после полюбили.

Лавина кавалерии,
по-львиному ревущая,
была ты каравеллой
Колумбам революции.
У каждого Колумба
с околицы села
конницей Коммуны
открытая земля.

И коням залетным
к подковам золотым
яблочком зеленым
весь Шар Земной летит!
В правом блеске шашек,
сжав уздечку левой...
Браво-бесшабашная,
где ж ты, кавалерия?!

Так и не закончив
давние походы,
вдаль уходят кони,
в прошлое уходят:
каурые и белые...
соловые и рыжие...
Проходит кавалерия.
Уже её не слышно.
За что, не понимаю,
коня мы так обидели?
Парады принимают
и то с автомобиля.
А то, что было чудом
подкованного войска —
табун набитых чучел
в музее Коневодства:
Соловые и рыжие,
в век атомный нелепые...
И, все-таки, вы слышите?
Проходит кавалерия!

Проходит кавалерия
ночами рядом с нами,
с разбитыми коленками
мальчишескими снами.|
Проходит утром ранним
в клубах горячей пыли
вся в незаживших ранах,

все неостывшей былью.
Над землей разбуженной —
в изрубленных рубахах,
под знаменем Республики —
безусые рубаки.
Под знаменем простреленным
и все же не потерянным,
вы слышите?

Вы слышите?!

Проходит кавалерия...

□ □

Она придёт, Большая Доброта.
Она придёт,
 почти наверняка.
Как в море сталкиваются
 два борта,
Которые сплылись издалека.
Как в темноте
 встречаются два рта.
Она придёт,
 Большая Доброта,
Она придёт.
 Наверное, придёт.
Мне кажется, она уже бредёт
по свежзамороженной земле
и кое-где свои права берёт,
рождая неуверенность во зле,
и обращает этим зло в озноб.
Все это предвещает, в общем, зной.
И, попадая под колючий снег,
уже не ощущаешь больше дрожь,
поскольку снег — он тот же
 тёплый дождь,
но только
 пребывающий во сне.
И чувствуешь,
 любая боль прошла.
А не прошла,
 хоть веришь что пройдёт.
Та Доброта
 ко мне уже пришла.
Быть может, и к тебе она придёт?

Густой туман над зоопарком.

Общественная и ничья

в вольере

дикая собака

тоскливо воеет по ночам.

Здесь дождь, как на свободе, мочит,

а пайку

сторожа суют.

Она уж волком быть не может,

и стать овчаркой не дают.

О, сколько их, забывших о призвании,
ушедших делать тихое добро?!

В призвании,
не дождавшихся признанья,
в призвание не верящих давно.

Любой из них
на книжищу большую
замахивался,
первым был в бою.

А нынче пишут
нужные брошюры
и вместо песен
песенки поют.

И только боль
едва коснется сердца,
когда, вдруг вспомнив,
бывшие друзья

гостями приглашают на концерт их,
как будто бы несбывшимся дразня.
Как тяжело им в грохоте оваций!—
конечно бы сильней смогли они.

Быть может, в этом время виновато,
что не хватило времени у них?

А после, ночью, став у изголовья,
призвание их не хочет отпустить.

Всё это, как обратный путь с Голгофы,
путь тех, кто вниз свернул на полпути.

И, мучаясь возможным,
стародавним,
они терзают в темноте себя.

Они во мне
рождают состраданье.

Я им товарищ.

Я им не судья.

Идут стихи. Они вокруг да около.
Идут стихи, ушей моих касаясь.
Аукают и по-волгарски окают.
Они гудят живыми голосами.
Я воздух, их дыханием насыщенный,
вдыхаю атмосферой ста вокзалов.
Спешат стихи: таксисты и носильщики
с чужим добром гремящими возками.
Идут стихи: пенсионер столетний,—
он в домино вас с форой обыграет!
Марают форму школьники-сонеты
и хулиганят дети-эпиграммы.
Доступней автоматной газировки
текут в пылу студенческих полемик...
Стих-девочка косится глазом робким,
как проплывает женщина-поэма.
Идут стихи.

Скорей навстречу выбеги!

Спеши!

Потом успеешь разобраться.
...А я стою, и ни строки не выберу
из этого стихов разнообразья.

Я всех сердец лубочный орден
охотно любящим отдам:

— Что сердце?!

Сердце — это орган.

А вот у Баха был орган.

В нем

по малиновым аортам,
когда великий Бах играл,
такие восходили звуки,
что у костелов и у кирх
от высоты сводило зубы...

Движенье баховской руки,
и каждый, прежде, чем разбиться,
звук чисто в небе догорал,
прозрачной сделав черепицу,
когда великий Бах играл.

А в жизни не был он великим.
Он на себя не надевал
искусства сладкие вериги,
обетов гордых не давал,
боясь в них оказаться лживым.
Не осуждала Церковь его.

Естественно, негромко жил он,
старинный мастер цеховой.
С друзьями в споры не вдавался
про смысл новаторских идей,—
ему и так хватало дел:
успел жениться он два раза,
любил вино,

плодил детей...

Он — протестант,

творивший мессы,
провинциальный музыкант,

жалевший лишний грошик медный
на башмаки ученикам,
несокрушимо верил в бога,
и каждый день

без громких слов,
за инструмент засея,

работал,
отлично зная ремесло.

Улыбкой детской

труд итожил
на пухлых

баховских губах,
и в этот миг

одно и то же,
наверно, было

Бог

и

Бах.



Норе Ганской

Замшелый дым рассветных тополей
встает в окне забытого кордона.
О, как мне тяжело тобой болеть
так пасмурно, так пристально, так долго!

Наивным было, здравость торопя,
лететь стремглав в края охоты царской.
Я каждый день встречаю здесь тебя,
когда смотрю на тонких белых цапель.

Они нисходят из-за туч с утра.
Они подходят к самому кордону.
Не знаю я, что их влечет сюда,
но цапли чувствуют себя со мной, как дома,

и мне приносят трепет длинных ног,
таких твоих беспомощных и хрупких,
как будто ноги вспоминают ночь
и темные мои мужские руки.

Царевна-Лебедь! Ты навечно в них.
В зрачках моих
 за боль твою отмщеньем,
как волосы твои, струятся вниз
их перья пеньем лебединой шеи.

Как поза-позапрошлогодний снег
далёкой, соколиной, графской эры.
Как давний свет в угаснувшем окне,
где обитали Ганские фон Эгер.

Я светом тем навечно облучен.
В нем суетность смешна мне дел и планов.
С ним обручен, как будто обречен.
О, господи, как хочется заплакать!

Судьба моя, проклятая, жена,
любимая, ниспровергатель мнений...
Моя и не моя, как тот журавль,
как мой журавль, который вечно в небе.

ЧЕРНОМОРСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Взрывная грусть читален и больниц.
Ко мне на грудь ложатся капли света.
Над Черным морем умирает лето,
белея гребнем парусной волны.

Под ветром наклонившийся баркас
как от врага бежит от горизонта,
и рулевой оглядывает зорко
неверный путь к надежным берегам.

А женщина уходит по песку.
Следы прибой стирает шаг за шагом.
Уходит навсегда она. Мне жалко,
что я за ней уже не побегу.

Рисуют дети разноцветным мелом
на тротуарах влажных городских.
По черному легко рисуют белым
и розовым,
и бледно-голубым.
Пока играют в классики другие,
сгорая на игрушечном огне,
рисуют дети,
странные такие,
от салок
и скакалок
в стороне.
Так, неумело,
молчаливо — смело,
пока лихие сверстники кричат,
испачкав пальцы нежным ломким мелом
и солнечным осколком кирпича,
они кидают под ноги прохожим
рисунок, обращенный небесам,
на взрослых откровенно непохоже
фигурки неземные набросав
на всех асфальтах
под кирпичным Солнцем,
как чудо
после северной зимы
рисуют дети
беззащитно стойкий
и беспощадно разноцветный мир.

Я люблю этот город
 с его проходными дворами,
 оглушительный грохот
 и тихую горечь
 слезящихся станций товарных,
 его будничный гомон
 и гул состязаний спортивных,
 его уличный говор
 со звоном гитар и с блатнишкой,
 где вдоль тесных и мутных каналов, заброшенно мокнут
 большими ночами,
 вздыхая на привязи прочной,
 усталые,

старые

шлюпки,

и воротами к дальнему морю,
 пароходными бредя гудками,
 почили тяжелые ржавые шлюзы
 печально.

Я люблю этот город.

И шоферов такси,
 вездесуще лукаво усталых,
 виртуозов лихих,
 вас везущих с вокзалов
 через город огромный

к далеким, безлюдным,

туманно-зеленым заставам,

и оттуда

по адресу точному снова везущих вас к Центру,—
 пусть, мол, счетчик рассудит
 и заставит понять широте его цену!

Я люблю этот город

с голубиными липами милых старинных задворков
за желтой стеною и черным чугунным забором,
где вне мелочных споров
молчит сам с собой,

как затворник,
одинокое над каменным креслом заброшен
сумасшедше склонившийся Гоголь.

Я люблю этот город.

И бездомных влюбленных на задних рядах кинотеатра,
беззащитно, беспомощно-нежных, как будто слепые котята:
понимаю их тайные коды — мне это знакомо!—
проносить свои страхи
и страсть
в темноте, вне закона,
под лучами проектора
или прожектора
горбась...

Я люблю этот город.

Фантастичность еще необжитого микрорайона,
где, как снимок изнанки Луны,
котлована мерцающий кратер
теплым дымом курится,
приглашая ладони измазать гончарною жирною глиной,
и, продутые ветром, стальные прозрачные краны
приглушенно курлычут,
окликаая друг друга на тонком языке журавлином.

Я люблю этот город.

ПОХОРОНЫ ПИСАТЕЛЯ

Талант закапывали в землю,
воздав таланту по делам,
отметив за талантом зрелость,
припомнив всё, чем был талант.

А сам талант в гробу добротном,
отлично выбритый, лежал.
Застегнут наглухо, двухбортный
на нем покоился пиджак.

И золотом алмазной грани
себя от праха оградив,
тонули в бархате награды
с большой талантливой груди.

Их свет скользил вдоль смерти, мимо,
чтоб вечно помнил черный зал
все, что талант поведал миру,
всё то, что знал и не сказал,

чтоб в этом свете было легче
свой путь оценивать трезвей
всем, кто пришел прослушать речи
его талантливых друзей,

где между слов, в разрывах пауз,
вникая в скрытую в них глубь,
талант, казалось, улыбался
концами подведенных губ.

А после вез талант автобус
под взмахи верных постовых,
минуя будничные толпы
непосвященных и живых,

до той испытанной ограды
с ее величием простым,
где всем друзьям и всем наградам
звучит беззвучное «прости!»

Могила... Гроб...

На лицах — горе
застыло, как игра в замри.
И крышка.

И по крышке — комья
сырой, талантливой земли.

СИЛА ТЯЖЕСТИ

Подъемный кран?

Ах, как я рад
твоим поклонам!

Тяжеловес и акробат
одновременно,
ты даришь мне
сеанс борьбы,
играя.
И, не смеясь,
вполне
ты был
бы вправе
над силой тяжести шутить серьезно.
Пусть для нее, в угоду ей ты создан,
пусть даже с места не сойти, —
неважно!
Ведь о тебе,

о ней судить

не ваше
дело, болтуны.

Верзила!

Железно,

сверху

плюй на них,

верь: сила —
твое, и только естество.

Эх, лапа!

Ты, хоть сто лет на месте стой,

их слабость

мешает многое постичь:

ты — выше!

Как не крутись...

не опустишь...

Ну, выжми!

Еще разок!..

Еще рывок!..

И снова

озноб, щекочущий ребро,

до зноя

согрей,

скрипя под ветерком,

разминкой.

За журавлиным косяком, размытым,
не надо в близких облаках тянуться.

На месте мы с тобой пока: да, ну их!

Печаль несет их за моря,

немеет крик их...

Мы за плечами заменять

умеем крылья

на нашей вздыбленной земле

лишь ростом.

Хотя расти совсем на ней

не просто.

Взмотришь!

С тобой мы не одни —

над краем

кромешной ночи

жгут огни

другие краны.

В бессоннице,

как ты и я.

Светло душе их

над силой тяжести стоять,

пружина шеи.

ИЗ НЕБДИНСА ВИТТОРА (ВИКТОРА САВИНА)

Я умирать не спешу. Не хочу я
Вас потревожить последним прощаньем.
Но, неизбежное сердцем почуяв,
Вам продиктую мое завещанье.

Умер недавно Забоев¹. И Козе².
Умер. Ни слова они не проронят.
Вот почему, чтобы не было поздно,
Всем говорю, кто меня похоронит:

Жизнь мне казалась всегда бесконечной,—
Незачем напрасно копать мне могилу!—
С первого вздоха, вздохлёб и навечно
С болью и радостью жизнь полюбил я.

Не был богат никогда я. Сегодня
Каждый мой сын, просто сын — не наследник.
Пусть от рубля они будут свободны,
Верные воле отцовской последней.

Юным желаю под знаменем красным
Вырасти. Взрослым — мир сделать светлее.
Дряхлым желаю спокойно угаснуть,
Если счастливыми быть не сумеют.

Ну, а меня из живых когда вычеркнут,
Вы проводите к последнему берегу,
Где заломил свои руки над Вычегдой
Кедр, мной любимое гордое дерево.

¹ Забоев — комсомольский работник. Сражался на Польском фронте. Редактировал газету «Красная Печора».

² Козе — эстонский рабочий — большевик. Вёл большую общественную и партийную работу в Усть-Сысольске.

Пусть он шумит надо мною вершиной —
Шепчет свои, мне понятные сказки,
Где над разлива сверкающей ширью
Дальнего грома клубятся раскаты.

Сказки, доступные мне с малолетства,
Из-под земли вы ко мне прорастали,
Сказки воды, моей почвы и леса,
В тайную жизнь их войду новой тайной.

В путь провожая меня, вы не плачьте, —
Будет и мертвому мне веселее.
Пусть на вас новые, яркие платья
Гробу подстать кумачево алеют.

Пусть впереди мою жизнь Шондыбаном
Выдохнут медные трубы в бессмертье,
А позади — хор друзей моих, грянув,
Звонко продолжит мою «Песню сердца»¹

Так на пригорок с моею могилой
Вы поднимайтесь веселой толпою,
И обнимайте там девушек милых,
В губы целуйте, танцуйте и пойте.

Вы поминайте меня — и не бойтесь —
Песнями теми, что льются на свадьбах.
Нет для души моей радости больше,
Чем побывать еще раз вместе с вами.

¹ После того, как Виктор Алексеевич Савин написал слова и музыку этой песни, она не переставала звучать в городах и селах Коми АССР даже после безвременной смерти поэта, став народной в самом полном смысле этого слова. Сегодня ее лейтмотив — позывные республиканского радио.

САХАЛИНСКАЯ СТОЛОВАЯ

Пар, колыхаясь, трепещет на щак
в горячем,

высоком порыве.

И очередь знатно

гудит натошак

в обеденном перерыве.

Гогочут матросы,

ватагою шумной

стараясь добраться до столиков.

И молча пьют пиво

суровые штурманы

с глубоким, морским достоинством.

Усталый корейский учитель в пенсне,

сюда заскочив

на большой перемене,

с завидным проворством

глотает пён-се —

громадные пельмени.

А рядом с учителем

с жилистых рук

до плеч рукава

засучил лесоруб:

умело рубает

пудового краба

с клешней чуть поменьше

портового крана.

И всюду на блюдах —

попробуй, как вкусно!—

заморское блюдо — морская капуста.

Но сразу пуды эти кажутся легкими,

тарелки и ложки игрушечными,

когда вдруг столкнусь я

нечаянно локтем

с поддевшими к столу

грузчиками.

И вовсе

от этого мне не неловко,—

мне чувство

такого смущения чуждо,

Не знаю, как в вас,

а во мне чувство локтя

рождает большое,

хорошее чувство.

Я чувствую себя их однокашником,

я съел немало вместе с ними каш,

я чувствую себя их одноклассником,

поскольку ведь и я — рабочий класс.

Поэты

это тоже пролетарии,

у нас во многом

очень общий быт.

И я вполне доволен пропитанием,

которое дает мне общепит.

Согрет работой,

а не лисьей шубой,

не надо ни двора мне,

ни кола!..

Поэты, моряки и лесорубы

здесь силу черпают

из одного котла.

КОМНАТА

Г. Невскому

Жил в этой комнате мечтатель и мудрец.
Пройдут года, о нем еще вы вспомните!
На вас на всех с улыбкой он смотрел
из этой, недоступной взглядам комнаты.
На тринадцати метрах квадратных,
посреди коммунальных удобств
в синих джинсах, заштопанных драгвой,
строил он удивительный дом.
Населяя его именами
на обложках любимых им книг,
он, привычек своих не меняя,
жил, как равный, как брат среди них.
И, хотя он нередко был первым
в том, что создал, отрекшись от сна,
он не знал Государственных премий,
и признания, в общем, не знал.
Но зарядами бодрости скрытой
над невзгодами и над враньем
проникал к нему в комнату с крыши
жизнестойкий мотив воробьев.
Как-то раз без озлобленной ругани
он растаял вот в этих дверях.
Он оставил в столе свою рукопись.
Только кто-то ее потерял.

РЕТРОСПЕКТИВА

Я шоферил когда-то в этом городе. Мне вспоминаются без гордости те дни извозного труда. Спросонья я под крапом горбился на тесной кухне в пять утра. Рассвет неощутимым заревом мутил морозное стекло, и, не всегда успев дозавтракать за оклеённым столом, я шел.

Волок меня трамвай за сто продутых остановок. Продуктом жирным пах товар спешащих на базар торговок. Но голод я не замечал. Я книжку Слуцкого читал, как лошади куда-то плыли, и про уснувший зоопарк... Мне тоже спать хотелось сильно. Но ждал набыченный завгар.

И вечно юная диспетчер, не обращая головы, путевку мне — гонцу Москвы вручала срочную депешей туда, где Ленинский проспект лежал, еще едва намеченный. И я летел, спеша поспеть (ведь мы работали на сдельщине).

В пути голосовали бабы. Вздыхали тяжело тормоза. И я, с досадой скорость сбавив, вставал, в кабину их сажал. ...Совала баба мятый рубль (теперь дают, наверно, гривенник?). Я, гордо опершись на руль, не брал, казался ей наивным. И вдруг застенчиво, как просьба, звучало полное добра:— Возьми, шофер, на папиросы?! Смущался я душой и брал. Поспешно нажимал на газ — машина, дернувшись, летела. Моя затекшая нога, потом рука, потом все тело послушно растворялись в скорости, срастались с двигателем, мчались, и сообщали мне раскованность того, действительного счастья:

Была дорога позади, и впереди была дорога. Я был свободен. Был один. Я колесом пространство трогал. Крутился кинофильм шикарный за взмокшим ветровым стеклом. Мой мазик широкоэкранный летел, озвученный стихом. Нет, строчки я не бормотал. Они во весь звучали голос. Была в них страсть и доброта, и неприкаянная скорость.

Я их писать не успевал. Я уставал в то время очень. Настолько сильно уставал, что не писал, а спал я ночью. Ночами мог я жить без них. Инерция другой работы иные мне дарила сны: шоссе... аварии... ремонты... Я в них спидометр крутил (ведь «МАЗ» наездил много меньше, чем записал в путевке сменщик. Что делать? — Был я не один.) Я думал в этих самых снах о том, как мне быстрее доехать, а не о том, что вся Москва когда-то кирпичом и лесом вот так вмещалась в самосвал и даже — в конную телегу...

ОГЛАВЛЕНИЕ

«Поредела в густом небе синь»	3
---	---

Терем

«Доски выструганные»	5
Северные Черемушки	7
Воспоминания о районной газете	8
Богомазы	10
Камни	11
На рыбозабойке	12
«Мы рано утром сели в Заполярье»	14
«Я пройду через озябший сквер»	15
После полета	17
Южно-Сахалинск	18
Северный чай	19
Он все танцует, все танцует	22
Баллада об оленьем батальоне	24
Шампиньон	26
«Сгорая в синем сабельном огне»	27
Занимательная палеонтология	28
Апрельский снег	30
«Я утирал у МАЗа рыло»	32

Рыбацкий хлеб

Вместо справки	33
Невельск	35
Гостиница плавсостава	37
Отход	39
Собаки	41
Сеть	43
Киты	45
Капитанский час	47
Нерпенюк	49
Морские львы	51
Рыбацкий хлеб	52

Шатун	54
«Постираны по-зимнему бело»	55
Тайфун	56
«Над нами чайки гомонят»	58
«Вы видели, как рыбы умирают?»	59
«Друг сердешный...»	60
Эпилог	62

Я люблю этот город

«Я год живу в доме стандартном»	64
«Мой отец тает»	66
Баллада о кавалерии	68
«Она придет, Большая Доброта»	71
«Густой туман над зоопарком»	72
О, сколько их, забывших о призвании	73
«Идут стихи. Они вокруг да около»	74
Бах	75
«Замшелый дым рассветных тополей»	77
Черноморская элегия	79
«Рисуют дети разноцветным мелом»	80
«Я люблю этот город»	81
Похороны писателя	83
Сила тяжести	85
Из Нёбдинса Виттора (Виктора Савина)	87
Сахалинская столовая	89
Комната	91
Ретроспектива	92

ИБ № 494

Александр Яковлевич Алшутков

СЕВЕР И ВОСТОК

С т и х и

Оформление художника А. В. Мошева.

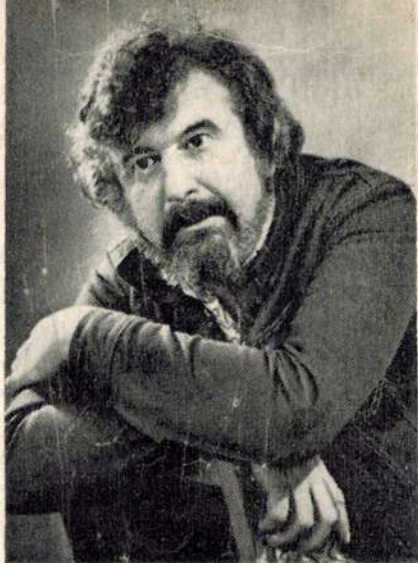
Редактор В. А. Попов. Художественный редактор В. Б. Осипов. Технический редактор А. Н. Вишнева. Корректоры В. М. Витязева, А. А. Надуткина.

Сдано в набор 28.11.80. Подписано к печати 16.01.81. Ц01035. Формат 70×90¹/₃₂. Бумага № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 3,51. Уч.-изд. л. 3,12. Тираж 3500. Заказ № 9253. Цена 30 коп. Коми книжное издательство. 167610. Сыктывкар, Дом печати.

Республиканская типография Государственного комитета Коми АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 167610. г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 20а.



30 коп.



Александр Алшутов родился в 1935 году в Москве. Учился на ихтиологическом факультете рыбного института. Будучи призван в Советскую Армию, летал воздушным стрелком на дальнем бомбардировщике. После демобилизации работал шофером самосвала, участвуя в строительстве Юго-Запада Москвы. С 1959 года живет на Дальнем Востоке. Вместе с Сахалинской рыболовецкой экспедицией ходит на промысел сельди и камбалы, работает в дальневосточных газетах.

Первая книжная публикация стихов Александра Алшутова была в 1967 году в издательстве ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», в коллективном сборнике «Шаги», а до этого стихи печатались на страницах журналов «Звезда», «Юность», «Сельская молодежь», в «Литературной газете», в еженедельниках «Литературная Россия» и «Неделя».

С 1976 года Александр Алшутов живет и работает в республике Коми. В качестве корреспондента побывал почти во всех уголках Коми АССР.